# Остров Эпиорниса

# Герберт Уэллс

Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и посмотрел на мои цветы.

— Орхидеи? — спросил он.

— Всего несколько штук, — ответил я.

— Венерины башмачки?

— В основном.

— Что-нибудь новенькое? Хотя вряд ли. Я обследовал эти острова двадцать пять — нет, двадцать семь лет назад. Если вы найдете здесь кое-что новое — значит, это уж совсем новехонькое. После меня не осталось почти ничего.

— Я не коллекционер.

— Тогда я был молод, — продолжал он. — Господи! Сколько я гонял по свету! — Он как бы присматривался ко мне. — Два года пробыл в Индии, семь лет в Бразилии. Потом поехал на Мадагаскар.

— Нескольких исследователей я знаю понаслышке. — Я уже предвкушал интересную историю. — Для кого вы собирали образцы?

— Для Доусона. Может вам доводилось слыхать такую фамилию — Бутчер?

— Бутчер, Бутчер?.. — Эта фамилия смутно казалась мне знакомой; потом я вспомнил: «Бутчер против Доусона». — Постойте! Так это вы судились с ними, требуя жалованье за четыре года — за то время, что пробыли на пустынном острове, где вас бросили одного?

— Ваш покорный слуга, — кланяясь, сказал человек со шрамом. — Занятное судебное дело, правда? Я сколотил себе там небольшое состояньице, пальцем о палец не ударив, а они никак не могли меня уволить. Я часто забавлялся этой мыслью, пока оставался на острове. И даже вел подсчеты, вырисовывая огромные цифры на песке чертова атолла.

— Как же это случилось? Я уже забыл подробности дела...

— Видите ли... Вы слыхали когда-нибудь об эпиорнисе?

— Конечно. Эндрюс как раз работает над его новой разновидностью; он рассказывал мне о ней примерно месяц назад. Перед самым моим отплытием. Они раздобыли берцовую кость чуть ли не с ярд длиной. Ну и чудовище это было!

— Охотно верю, — сказал человек со шрамом. — Настоящее чудовище. Легендарная птица Рух Синдбада-морехода безусловно принадлежала к этому семейству. И когда же они нашли эти кости?

— Года три-четыре назад — кажется, в девяносто первом году. А почему вас это интересует?

— Почему? Потому что их нашел я — да, да, почти двадцать лет назад. Если б у Доусона не заупрямились с моим жалованьем, они могли бы поднять здоровую шумиху вокруг этих костей. Но что я мог поделать, если проклятую лодку унесло течением...

Он помолчал.

— Это, наверно, то же самое место. Нечто вроде болота, в девяноста милях к северу от Антананариво. Не слыхали? К нему надо добираться вдоль берега, на лодке. Может, вы случайно помните?

— Нет. Но, кажется, Эндрюс говорил что-то о болоте.

— Очевидно, о том же самом. На восточном берегу.

Там в воде, уж не знаю откуда, есть какие-то вещества, предохраняющие от разложения. Пахнет словно креозотом. Сразу вспоминается Тринидад. А яйца они нашли? Мне попадались яйца в полтора фута величиной. Болото образует круг, понимаете, и это место совершенно отрезано. Помимо всего, там много соли. Да-а... Не легко мне пришлось в то время! А нашел я все это совсем случайно. Я взял с собой двух туземцев и отправился за яйцами в этаком нелепом каноэ, связанном из кусков; тогда же мы нашли и кости. Мы прихватили с собой палатку и провизии на четыре дня и расположились там, где грунт потверже. Вот сейчас вспомнилось мне все, и сразу почудился тот странный, отдающий дегтем запах. Занятная была работа. Понимаете, надо шарить в грязи железными прутьями. Яйца при этом обычно разбиваются. Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как жили эпиорнисы? Миссионеры утверждают, что в туземных легендах говорится о временах, когда такие птицы жили, но сам я рассказов о них не слыхал[[1]](#footnote-1). Однако те яйца. которые мы достали, были совершенно свежие. Да, свежие! Когда мы тащили их к лодке, один из моих негров уронил яйцо, и оно разбилось о камень. Ох, и отлупил же я парня! Яйцо было ничуть не испорченное, словно птица только что снесла его, даже не пахло ничем, а ведь эта птица, может быть, уже четыреста лет как сдохла. Негр оправдывался тем, что его будто бы укусила сколопендра. Впрочем, я уклонился в сторону. Целый день мы копались в этой грязи, стараясь вынуть яйца неповрежденными, вымазались с ног до головы в противной черной жиже, и вполне понятно, что я разозлился. Насколько мне было известно, это единственный случай, когда яйца достали совершенно целыми, без малейшей трещинки. Я смотрел потом те, что хранятся в Музее естественной истории, в Лондоне; все они надтреснутые, куски скорлупы слеплены вместе, как мозаика, и некоторых кусочков не хватает. А мои были безукоризненными, и я собирался по возвращении выдуть их. Ничего удивительного, что меня взяла досада, когда этот идиот погубил результат трехчасовой работы из-за какой-то сколопендры. Здорово ему досталось от меня!

Человек со шрамом вынул из кармана глиняную трубку. Я положил перед ним свой кисет с табаком. Он задумчиво набил трубку, не глядя на нее.

— А другие яйца? Довезли вы их до дома? Никак не могу припомнить...

— Вот это-то и есть самое необыкновенное в моей истории. У меня было еще три яйца. Абсолютно свежих. Мы положили их в лодку, а потом я пошел к палатке, варить кофе; оба мои язычника остались на берегу — один возился со своим укусом, а другой помогал ему. Мне и в голову не могло прийти, что эти негодяи воспользуются моим положением, чтобы устроить мне пакость. Видимо, один из них совсем одурел от яда сколопендры и от моей взбучки — он вообще был довольно строптивый — и сманил другого.

Помню, я сидел, курил, кипятил воду на спиртовке, которую всегда брал с собой в экспедиции, и любовался болотом, освещенным заходящим солнцем. Болото все было в черных и кроваво-красных полосах — очень красиво. Дальше к горизонту местность повышалась и переходила в подернутые серой дымкой холмы, над которыми небо полыхало, словно жерло печи. А в пяти-десяти шагах от меня, за моей спиной, чертовы язычники, равнодушные ко всему этому покою, сговаривались угнать лодку и бросить меня одного, с трехдневным запасом провизии, холщовой палаткой и без питья, если не считать воды в маленьком бочонке. Я услыхал, как они вдруг завопили, смотрю, а они уже в этом своем каноэ — настоящей лодкой его и не назовешь — шагах в двадцати от берега. Я сразу смекнул, в чем дело. Ружье у меня осталось в палатке, и патронов, вдобавок, не было, — только мелкая дробь. Негры это знали. Но у меня в кармане лежал еще маленький револьвер; я его вытащил на ходу, когда побежал к берегу.

«Назад!» — крикнул я, размахивая револьвером. Они о чем-то залопотали между собой, и тот, который разбил яйцо, ухмыльнулся. Я прицелился в другого — поскольку он был здоров и греб, — но промазал. Они засмеялись. Однако я не считал себя побежденным. Нужно сохранять хладнокровие, подумал я, и выстрелил вторично. Пуля прожужжала так близко от гребца, что он даже подскочил. Тут уж он не смеялся. В третий раз я попал ему в голову, и он полетел за борт вместе с веслом. Для револьверного выстрела здорово метко. Между мной и каноэ было, по-моему, ярдов пятьдесят. Негр сразу скрылся под водой. Не знаю, застрелил я его или он был просто оглушен и утонул. Тогда я стал орать и требовать, чтобы второй негр вернулся, но он съежился в комок на дне челнока и не желал отвечать. Пришлось мне выпустить в него и остальные заряды, но все мимо.

Должен вам признаться, что положение мое было совершенно дурацким. Я остался один на атом гиблом берегу, позади меня — болото, впереди — океан, похолодавший после захода солнца, а эту черную лодчонку неуклонно уносит течением в открытое море. Ну и проклинал же я доусоновскую фирму, и джэмраковскую, и музеи, и все прочее — и совершенно справедливо! Я звал этого негра обратно, пока у меня не сорвался голос.

Мне не оставалось ничего другого, как поплыть за ним вдогонку, рискуя встретиться с акулами. Я раскрыл складной нож, взял его в зубы и разделся. Как только я вошел в воду, я сразу потерял из виду каноэ, но плыл я, по-видимому, наперерез ему. Я надеялся, что негр ранен и не в состоянии управлять рулем и что его суденышко будет относить все в том же направлении. Вскоре челнок показался на горизонте, примерно к юго-западу от меня. Закат уже потускнел, стали надвигаться сумерки. В синеве неба проглянули звезды. Я плыл, как заправский чемпион, хотя ноги и руки у меня скоро заныли.

Все-таки я догнал каноэ, к тому времени как звезды усыпали все небо. Когда стемнело, в воде появилось множество каких-то светящихся точек — ну, эта самая фосфоресценция. Порою у меня даже кружилась от нее голова. Я не мог разобрать, где звезды и где фосфоресценция, и как я плыву — вверх головой или вверх ногами. Каноэ было черным, как смертный грех, а рябь на воде под ним — как жидкое пламя. Я, конечно, немного побаивался залезать на борт. Надо было сначала узнать, что там задумал этот негр. Он лежал, свернувшись клубком, на носу, а корма вся поднялась над водой. Лодка медленно вертелась — будто вальсировала. Я схватился за корму и потянул ее вниз, думая, что негр проснется. Затем я вскарабкался на борт с ножом в руке, готовый броситься вперед. Но негр даже не шелохнулся. Так я и остался на корме, маленького каноэ, а течением несло его в спокойное фосфоресцирующее море; над головой была сплошные звезды, а я сидел и ждал, что будет дальше.

Много времени прошло, прежде чем я окликнул негра по имени. Он ничего не ответил. Я сам настолько устал, что боялся подойти к нему ближе. Так мы и сидели. Кажется, я раза два вздремнул. Когда рассвело, я увидел, что он уже давно мертв и весь распух и посинел. Три яйца эпиорниса и кости лежали посередине челнока, в ногах у мертвеца — бочонок с водой, немного кофе и сухарей, завернутых в номер кэйпского «Аргуса», а под телом — жестянка с метиловым спиртом. Весла не было, и вообще ничего, что можно было бы использовать вместо весла, если не считать этой жестянки; и я решил дрейфовать, пока меня не подберут. Обследовав тело, я поставил диагноз: укус неизвестной змеи, скорпиона или сколопендры, и выкинул негра за борт.

После этого я попил воды, поел сухарей, а затем осмотрелся вокруг. Когда человек ослабевает так, как я ослабел тогда, он, вероятно, не может видеть на далеком расстоянии; во всяком случае, я не замечал не только Мадагаскара, но и вообще какой-либо земли. Я разглядел лишь удалявшийся к юго-западу парус, очевидно, какой-то шхуны, но само судно так и не показалось. Вскоре солнце уже поднялось высоко на небе и начало меня припекать. Ну и жгло! У меня чуть мозги не сварились. Я пробовал окунать голову в море, а потом мне попался на глаза кэйпский «Аргус»; я вытянулся плашмя на дне каноэ и накрылся газетным листом. Замечательная вещь — газета! До того времени я никогда не прочитывал их полностью, но, удивительное дело, — когда человек остается один, он способен дойти бог весть до чего. Я перечел этот окаянный старый «Аргус», кажется, раз двадцать. Смола, которой было обмазано каноэ, так и курилась от жары и вздувалась большими пузырями.

— Течение носило меня десять, — продолжал человек со шрамом. — Когда рассказываешь, выходит, будто это пустяк, верно? Каждый день был похож на предыдущий. Наблюдать за морем я мог только утром и вечером, — такой был вокруг нестерпимый блеск. После первого паруса я три дня не видал ничего, а потом с тех судов, которые я успевал заметить, не видели меня. Примерно на шестой вечер мимо проплыл корабль на расстоянии меньше полумили; на нем ярко горели огни, иллюминаторы были открыты — он был точно большой светляк. На палубе играла музыка. Я вскочил на ноги, кричал и вопил ему вслед... На второй день я продырявил одно из яиц эпиорниса, по кусочкам очистил с одного конца от скорлупы и попробовал его; к счастью, оно оказалось съедобным. Яйцо немножко припахивало, — не испорчено было, нет, — но по вкусу напоминало утиное. На одной стороне желтка было нечто вроде круглого пятна, около шести дюймов в диаметре — с кровяными прожилками и белым рубцом лесенкой; пятно показалось мне странным, но в то время я еще не понял, что это значит, да и не собирался быть особенно разборчивым. Яйца мне хватило на три дня, с сухарями и водой из бочонка. Кроме того, я жевал кофейные зерна — как укрепляющее. Второе яйцо я вскрыл примерно на восьмой день и — испугался.

Человек со шрамом умолк.

— Да, — сказал он, — в нем был зародыш.

Вам, вероятно, трудно этому поверить. Но я поверил, ведь я видел собственными глазами. Это яйцо, погруженное в холодную черную грязь, пролежало в ней лет триста. Тем не менее ошибиться было невозможно. Там оказался... как его?.. эмбрион, с большой головой и выгнутой спиной; в нем билось сердце, желток весь ссохся, а внутри скорлупы тянулись длинные перепонки, которые покрывали и желток. Получилось, что я, плавая в маленьком каноэ по Индийскому океану, высиживал яйца самой большой из вымерших птиц. Если б старик Доусон это знал! Такое дело стоило жалованья за четыре года. Как, по-вашему, а?

Но еще до того, как показался риф, мне пришлось съесть эту драгоценность до последней крошки, и черт знает, до чего это была противная еда! Третье яйцо я не трогал. Я просматривал его на свет, но при такой плотной скорлупе трудно было разобрать, что творится внутри; и хотя мне казалось, будто я слышу биение пульса, может быть, у меня просто шумело в ушах, как бывает, когда приложишь к уху морскую раковину.

Затем показался атолл. Выплыл вместе с восходящим солнцем, неожиданно, совсем рядом. Меня несло прямо к нему до тех пор, пока до берега не осталось меньше полумили, а затем течение вдруг свернуло в сторону, и мне пришлось грести изо всех сил руками и кусками скорлупы эпиорниса, чтобы попасть на остров. И все-таки я добрался до него. Это был самый обыкновенный атолл, около четырех миль в окружности; на нем росло несколько деревьев, сочился родник, а лагуна так и кишела рыбой, главным образом губанами. Я отнес яйцо на берег, выбрав для него подходящее место, — достаточно далеко от границы прилива и на солнце, чтобы создать для него самые лучшие условия; затем втащил на берег каноэ, целое и невредимое, и отправился осматривать окрестности. Удивительно, до чего тоскливы эти атоллы! Как только я нашел родник, у меня пропал всякий интерес к острову. В детстве мне казалось, что ничто не может быть лучше и увлекательнее, чем жить Робинзоном, но мой атолл был скучен, как сборник проповедей. Я ходил вокруг него, разыскивая что-нибудь съедобное и предаваясь раздумью; но еще задолго до того, как кончился этот первый день, меня уже одолела тоска. А ведь мне очень повезло — едва я высадился на сушу, погода переменилась. Над морем, по направлению к северу, пронеслась гроза, захватив своим краем остров; ночью пошел проливной дождь и поднялся ветер, который выл и крутил все вокруг. Каноэ ничего не стоило бы перевернуться, это ясно.

Я спал под каноэ, а яйцо, к счастью, лежало в песке, подальше от берега. Первое, что я тогда услыхал, был грохот, такой, словно на доски обрушился град камней; меня всего обдало водой. Перед этим мне снилось Антананариво, и я сел и стал звать Интоши, чтобы узнать у нее какого черта там шумят; я протянул было руку к стулу, на котором обычно лежали спички, и тут только вспомнил, где я. Фосфоресцирующие волны катились прямо на меня, словно собираясь меня поглотить, кругом было темно, как в аду. В воздухе стоял сплошной рев. Тучи висели над самой моей головой, а дождь лил так, будто небо начало тонуть и кто-то вычерпывал воду, выливая ее за край небосвода. Ко мне приближался огромный вал, извивающийся как разъяренная змея, и я пустился бежать. Затем я вспомнил о лодке, и как только вода с шипеньем отхлынула, помчался к ней, но она уже исчезла. Тогда я решил посмотреть, цело ли яйцо и ощупью добрался до него. Оно было в безопасности, самые ярые волны не могли бы докатиться туда; я уселся рядом с ним и обнял его, как приятеля. Ну и ночка это была, господи боже ты мой!

Шторм улегся еще до утра. Когда рассвело, от туч уже нe оставалось ни клочка, а по всему берегу были разбросаны обломки досок, так сказать, скелет моего каноэ. Но мне хоть нашлась какая-то работа. Я выбрал два дерева, росших рядом, и соорудил между ними из останков лодки нечто вроде шалаша для защиты от штормов. И в этот день вылупился птенец.

Вылупился, сэр, в то время, как я спал, положив голову на яйцо, как на подушку! Я услыхал сильный стук, меня тряхнуло, и я сел, — кончик яйца был пробит, и оттуда выглядывала забавная коричневая головка.

«Господи! — сказал я. — Добро пожаловать!»

Птенец поднатужился и вылез наружу.

Он оказался славным, дружелюбным малышом, величиной с небольшую курицу, очень похожим на любых других птенцов, только крупнее. Вначале его оперение было грязно-бурым, с какими-то серыми струпьями, которые вскоре отвалились, и редкими перышками, пушистыми, как мех. Трудно передать мою радость при виде его. Робинзон Крузо и тот не был так одинок, как я, уверяю вас. А тут у меня появилась преинтересная компания. Птенец смотрел на меня и мигал, закатывая веки кверху, как курица, затем чирикнул и сразу начал клевать песок, как будто вылупиться с опозданием в триста лет было для него сущей безделицей.

«Привет, Пятница!» — сказал я; еще в каноэ, увидав, что в яйце развивается зародыш, я уже решил: если птенец вылупится, конечно, он будет зваться Пятницей. Меня немножко беспокоило, чем я его буду кормить, и я сразу дал ему кусок сырого губана. Он проглотил его и снова разинул клюв. Это меня обрадовало, — ведь если бы он, при подобных обстоятельствах, оказался чересчур разборчивым, мне пришлись бы в конце концов съесть его самого.

Вы не можете себе представить, каким занятным был этот птенец эпиорниса. С самого начала он не отходил от меня ни на шаг. Обычно он стоял рядом и смотрел, как я ужу рыбу в лагуне; я делился с ним всем, что вылавливал. И к тому же он был умницей. На берегу, в песке, попадались какие-то противные зеленые бородавчатые штучки, похожие на маринованные корнишоны; он попробовал проглотить одну из них, и ему стало худо. Больше он на них даже и не глядел.

И он рос. Рос чуть ли не на глазах. А так как я никогда не был особенно общительным, его спокойная дружелюбная натура вполне устраивала меня. Почти два года мы были так счастливы, как только это возможно на подобном острове. Зная, что мне накапливается у Доусона жалованье, я откинул все деловые заботы. Временами мы видели парус, однако ни одно суденышко не приблизилось к нашему острову. Я развлекался тем, что украшал атолл узорами из морских ежей и различных причудливых раковин и кругом по берегу выложил камнями: «Остров Эпиорниса», — очень аккуратно, большими буквами, как делают из цветных камешков у нас на родине, возле железнодорожных станций; кроме того, я разместил там математические вычисления и разные рисунки. Иногда я лежал и смотрел, как эта птичка важно выступает около меня и все растет, растет; если меня когда-нибудь снимут отсюда, думал я. вполне можно будет заработать на жизнь, демонстрируя мою птицу. После первой линьки она стала красивой — с хохолком и голубой бородкой и пышными зелеными перьями в хвосте. Я все ломал себе голову, имеет Доусон право претендовать на нее или нет. Во время шторма или в период дождей мы уютно лежали в шалаше, построенном из остатков каноэ, и я рассказывал Пятнице всякие небылицы про своих друзей на родине. А после шторма мы вместе обходили остров, проверяя, не выкинуло ли чего-нибудь на берег. Словом — идиллия. Если бы еще немного табачку, ну просто была бы райская жизнь.

Но к концу второго года что-то стало не ладиться в нашем маленьком раю. Пятница достиг тогда примерно четырнадцати футов в вышину; у него была большая, широкая голова, по форме как конец кирки, и огромные коричневые глаза с желтым ободком, посаженные не по-куриному — с двух сторон, а по-человечьи — близко друг к другу. Оперение у него было красивое: не полутраурное, как у всяких страусов, а скорее, по цвету и фактуре, как у казуара. И вот он начал топорщить гребешок при виде меня. и важничать, и проявлять признаки скверного характера.

А затем однажды, когда рыбная ловля оказалась довольно неудачной, моя птица стала ходить за мной с каким-то странным, задумчивым видом. Я думал, что, может быть, она наелась морских огурцов или еще чего-нибудь такого, но это она просто показывала мне свое недовольство. Я тоже был голоден и, когда, наконец, вытащил рыбу, хотел съесть ее сам. В то утро мы оба были не в духе. Она клюнула губана и схватила его, а я стал гнать ее прочь и стукнул по голове. Тут она и накинулась на меня. Боже!

— Она начала с этого. — Человек со шрамом показал на свое лицо. — Потом стала лягаться. Лягаться, как ломовая лошадь! Я вскочил и, видя, что она не унимается, помчался что есть мочи, прикрыв обеими руками лицо. Но эта проклятая птица, несмотря на неуклюжие ноги, бежала быстрее скаковой лошади, и все молотила меня ногами, и долбила своей киркой по затылку. Я понесся к лагуне и забрался в воду по самую шею. Птица остановилась на берегу, потому что не любила мочить лапы, и начала пронзительно кричат, как павлин, только более хрипло, а потом принялась расхаживать по берегу взад да вперед. Сказать по правде, довольно-таки унизительно было видеть, как это ископаемое чувствует себя хозяином положения. С головы и лица у меня стекала кровь, а тело — тело было все в синяках.

Я решил переплыть через лагуну и ненадолго оставить свою птицу одну, чтобы она утихомирилась. Потом я залез на самую высокую пальму и стал все это обдумывать. Кажется, в жизни я не был еще так оскорблен. Такая черная неблагодарность! Я был для нее ближе родного брата. Высидел ее, воспитал. Этакую большую, неуклюжую, допотопную птицу! Я — человек, царь природы и тому подобное.

Я думал, что через некоторое время она сама это поймет и устыдится. Я думал, что если мне удастся поймать вкусных рыбок и я как бы случайно подойду и угощу ее, она образумится. Прошло немало времени, пока я узнал, какой мстительной и сварливой может быть вымершая порода птиц. Воплощенное коварство!

Не буду рассказывать обо всех уловках, которые я применял, чтобы снова заставить птицу слушаться. Я просто не в состоянии: даже и теперь сгораю со стыда, когда вспомню, как пренебрежительно обращалась со мной и как избивала меня эта музейная диковинка! Я пробовал применить силу и стал бросать в нее кусками коралла — с безопасного расстояния, но она только проглатывала их. Потом я попробовал швырнуть в нее раскрытым ножом и чуть не расстался с ним, хотя он был слишком велик, чтобы она могла его проглотить. Пытался я взять ее измором и перестал удить рыбу, но она научилась отыскивать на берегу, после отлива, червяков, и ей этого хватало. Половину времени я проводил, стоя по шею в лагуне, а другую половину — наверху, на пальмах. Однажды пальма оказалась недостаточно высокой, и когда моя птица настигла меня там, ну и полакомилась она моими икрами! Положение стало совершенно невыносимым. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь спать на пальме. У меня были ужаснейшие кошмары. И какой позор, к тому же! Эта вымершая тварь бродит по моему острову с надутым видом, словно герцогиня, а я не имею права ступить ногой на землю. Я даже плакал от усталости и досады. Я прямо заявил ей, что не позволю такому дурацкому анахронизму гоняться за мной по пустынному острову. Пусть разыскивает какого-нибудь мореплавателя своей собственной эпохи и клюет его, сколько вздумается. Но она только щелкала клювом, завидя меня. Этакая огромная уродина, одни ноги и шея!

Сколько все это тянулось, даже не хочется говорить. Я убил бы ее раньше, да не умел. В конце концов я все же сообразил, как мне ее прикончить. Так ловят птиц в Южной Америке. Я соединил все свои рыболовные лесы, связав их стеблями водорослей и другими штуками, и сделал крепкий канат, ярдов в двенадцать, даже больше; к каждому его концу я привязал по куску коралла. На это у меня ушло довольно много времени, потому что постоянно приходилось то влезать в лагуну, то забираться на дерево — смотря по обстоятельствам. Затем я быстро развертел этот канат в воздухе, над головой, и запустил им в птицу. В первый раз я промахнулся, но во второй раз канат ловко обвился вокруг ее ног и опутал их. Она упала. Я бросал канат, стоя по пояс в лагуне, и как только птица свалилась на землю, выскочил из воды и перепилил ей горло ножом...

Мне даже теперь неприятно об этом вспоминать. В ту минуту я чувствовал себя убийцей, хотя во мне все так и кипело от злости. Я стоял над ней и видел, как ее кровь текла на белый песок, как ее могучие длинные ноги и шея дергались в агонии... Ах, да что там!..

После этой трагедии одиночество нависло надо мной, как проклятье. Боже мой, вы даже представить себе не можете, как мне не хватало моей птицы. Я сидел около ее тела и горевал; меня пробирала дрожь, когда я оглядывал свой унылый риф, на котором царило полное безмолвие. Я думал о том, каким славным птенцом был этот эпиорнис, когда вылупился, и какие симпатичные, забавные повадки были у моего Пятницы, пока он не взбесился. Кто знает — если б я его только ранил, я, вероятно, сумел бы, выходив его, привить ему дружеские чувства. Если бы у меня была какая-нибудь возможность вырыть яму в коралловой скале, я похоронил бы его. Мне казалось, что я расстался с человеком, а не с птицей. Съесть ее я, конечно, не мог бы и поэтому опустил в лагуну, где рыбки начисто ее обглодали. Я даже не оставил себе перьев. А потом какому-то типу, путешествовавшему на яхте, в один прекрасный день вздумалось поглядеть, существует ли еще мой атолл.

Он явился как раз вовремя, потому что мне стало так тошно на этом пустынном острове, что я только не мог решить, зайти ли мне просто подальше в море и там покончить со всеми земными делами или поесть зеленых штучек...

Я продал кости человеку по имени Уинслоу, торговавшему поблизости от Британского музея, а он, по его словам, перепродал их старику Хэверсу. Хэверс, видимо, не знал, что они исключительно велики. Поэтому они привлекли к себе внимание только после его смерти. Птице дали имя... эпиорнис... как это дальше, вы не помните?

— Epyornis Vastus, — сказал я. — Забавное совпадение, ведь именно об этих костях упоминал один мой приятель. Когда был найден скелет эпиорниса с берцовой костью длиной в один ярд, считалось, что это уже верхушка шкалы — Epyornis Maximus. Потом кто-то раздобыл другую берцовую кость в четыре фута шесть дюймов или больше, и она получила название Epyornis Fitan. Затем, после смерти старика Хэверса, в его коллекции нашли ваш Vastus, а потом нашелся Vastissimus.

— Уинслоу так и говорил мне, — сказал человек со шрамом. — Если найдутся еще новые эпиорнисы, он думает, что какую-нибудь ученую шишку хватит удар. А все-таки странные истории случаются с людьми, правда?

1. Насколько известно, ни один европеец не видел живого эпиорниса, за малоправдоподобным исключением Мак‑Эндрью, который побывал на Мадагаскаре в 1745 г. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-1)